

Лит. газет. — 1992. — 26 февр (29) — с. 4.



Юлий Даниэль. «Говорит Москва». Издательство «Московский рабочий». М. 1991.

Все здесь взаимосвязано: проза, поэзия, переводы, фотографии, фрагменты незаконченных произведений, протоколы судебного процесса. В последнем слове обвиняемого Даниэль сказал то, что гозорили или могли говорить герои его повестей. В книге эта речь помещена в подбор с повестями и рассказами. Она их продолжает, близка им по духу, так же, как строчки его лагерных стихов (они ждут отдельного разговора) дополняют прозу, а проза расшифровывает стихи. Фотография, сделанная в Переделкине на похоронах Пастернака — Синяевский и Даниэль выносят крышку гроба, — как бы «озвучена» горьким признанием персонажа повести «Искупление»: «Я не могу простить себе, что в свое время не написал, не пришел к таким людям, как Пастернак и Зощенко... Никогда, вы понимаете, никогда — я уже не смогу сказать им, как я им благодарен, как счастлив, что я их современник».

Даниэля обвиняли в клевете из советского государство и общество. Как можно было измыслить такое: Указ Президиума Верховного Совета о проведении по всей стране Дня открытых убийств? Даниэль отвечал, что отправная точка повести «Говорит Москва», ее фантастическая завязка — художественное допущение, а не реальность. Но эта фантазмагория и кажущиеся абсурдными сюжетные коллизии подсказаны реальностью. Годы сталинского террора были сплошным днем открытых убийств. Если реставрировать культ, кто поручится, что не воскреснут времена вседозволенных умерщвлений? «Я чувствовал реальную угрозу возрождения культа личности. Мне возражают: при чем здесь культ личности, если повесть написана в 1960—1961 годах. Я говорю: это именно те годы, когда ряд событий заставил думать, что культ личности возобновляется».

В канун дня открытых убийств запираются на замок двери, задергиваются шторы. Я читал «Говорит Москва» параллельно с повестью «Верую...», и невольно напрашивалась аналогия с горькими признаниями старого писателя, как в тридцать седьмом он сжигал рукописи и дневники. Все это было. В День открытых убийств пожилая женщина, рискуя незаметно прошмыгнуть в магазин, на лестнице столкнувшись с сосе-

дом, в страхе молит: «— Толя, Толя... Я же вас маленького... на руках... Я вашу маму... Толя!» А по радио, вслед за леденящим душой указом, как в тридцать седьмом после сообщений о приведении в исполнение смертных приговоров, бодро объявляют: «Передаем концерт легкой музыки».

Повесть «Искупление» перекликается с «Днем открытых убийств». Объясняя, почему он написал «Искупление», Даниэль сам предложил ключ к целому: написал, «потому что считаю, что все в обществе ответственны за то, что происходит, каждый в отдельности и все вместе».

В «Искуплении» Виктора Вольского обвиняют в предательстве. Феликс Чернов утверждает, что угодил в лагерь по его доносу. От Виктора отворачиваются друзья, уходит любимая женщина. Даниэль говорил, что сюжет повести пришел к нему от обратного. Стукача-виновника ищут среди невинных. Не дай Бог, если вирус подозрительности проникнет в души и возмездие обрушится на невинного.

Но почему пассивно сопротивляется безвинный Виктор Вольский? Потому что чувствует за собой не ту вину, которую ему приписывают, а ту, что на самом деле имела место. Его вина — в бездействии. Ничего не сделал. Мог — и не сделал. Вина в равнодушии, в трусости виноват, то ведь не один. Виноваты и другие. Только другие на себя не оглянутся, а ему не помогут, не поддержат. Они, справедливые, честные, себя считают непогрешимыми. Им ли думать об искуплении? А он бы помог, случись беда не с ним? Так возникает в повести и выходит на первый план тема душевной глухоты. «Тюрьма в нас», — кричит в конце повести Вольский.

Литературное наследие Даниэля невелико. Наряду с законченными, завершенными произведениями остались незавершенные, только начатые. Собирается ли он вернуться к прежней манере фантазмагории — драматических или сатирических, как в парадоксальной истории «Человек из МИНАПа», наполняющей сюжеты городских баллад Александра Галича, можно только гадать. В своих фронтальных воспоминаниях и лагерных, в портретных зарисовках людей художник, мне кажется, обрел новое качество — метафорическую прозу сменила документальная. Суровый лагерный быт «в мордовской, богом проклятой дыре» раскрывается в своей неприглядности. Жестокой, гнетущей, но из безнадежной, — с такой убежденностью в нравственном превосходстве над тюремщиками «под ношей своєї правоты» не озвереть, он говорит о пережитом: «Ах, недоустраляли, недобили, недогнули, недоупекли».

И не сломили. Не смогли.

125